

КНИГА ТЕНЕЙ

роман

ПАВЕЛ ПОПОВ

18+



Павел Попов

Книга теней

«Автор»

2026

Попов П. А.

Книга теней / П. А. Попов — «Автор», 2026

Семь духов пришли в мир, когда у него ещё не было истории. Каждому досталась книга, в которую он столетиями заносит всё, что случается в его стихии, и кольцо, которое питается его жизнью. Хранитель Книги Теней выгорел первым: четыреста лет чужой боли, записанной его рукой, не прошли даром. Ему нужен преемник — и им становится, двадцатилетний человек, чья жизнь обрывается одним обычным вечером. Ему дают кольцо, новое имя — Нэирс — и книгу, в которой записаны тысячи чужих судеб. Шесть из них он прочтёт сам: раскаяние вампира, не сумевшего умереть; братьев-близнецов, разделённых монастырём и клинком; еретика, сгоревшего за чужую вину; ведьму, которую ночь шабаша позвала свести старые счёты; палача кладбищенских теней; и любовь, которой не должно было случиться. А за всеми этими историями ждёт тот, кто построил этот мир и теперь хочет забрать его обратно. «Книга теней» — мистическая поэма в шести историях, написанная разными голосами: духов, людей, демонов и того, кто называет себя всем.

© Попов П. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Семеро	5
КНИГА ПЕРВАЯ. Раскаяние вампира	15
КНИГА ВТОРАЯ. Последние слёзы	27
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Павел Попов

Книга теней

ПРОЛОГ. Семеро

I

Дни в этом городе были похожи один на другой настолько, что порой Александру казалось, будто время здесь не движется вовсе, а просто перекладывает одни и те же сутки, как колоду карт, из одной стопки в другую. Он вставал в семь, наскоро завтракал тем, что находилось в холодильнике, выслушивал материнские наставления — не потому что она в самом деле сомневалась в нём, а потому что ей нравилось произносить их вслух, как произносят молитву, не столько ради содержания, сколько ради самого звука родного голоса, — и уходил на работу в мастерскую, где чинил чужие велосипеды и чужие мопеды, зарабатывая ровно столько, чтобы хватало на съём комнаты и немного откладывать на будущее, которое представлялось ему смутно, но неизменно — светлым.

Ему было двадцать лет, и в этом возрасте будущее всегда кажется чем-то безграничным, тем, что можно отложить на потом, не боясь опоздать. Он не был ни героем, ни трусом — обычный молодой человек с обычными мечтами: своя мастерская, может быть, однажды своя семья, уважение соседей, тихая жизнь без потрясений. Он любил вечерние прогулки вдоль набережной — там, где город переставал шуметь и позволял себе просто дышать, — и в тот вечер, о котором пойдёт речь, он тоже вышел пройтись, не подозревая, что этот обычный, ничем не примечательный вечер станет последним в его человеческой жизни.

Отца он почти не помнил: тот ушёл, когда Александру было четыре, и в памяти остался только смех — низкий, раскатистый — да запах табака и машинного масла. Мать вырастила его одна, работая посменно на фабрике, и он с детства знал две вещи: что просить лишнего нельзя и что жаловаться незачем. Может быть, именно поэтому он так рано пошёл работать и так спокойно относился к тому, что сверстники его учатся, а он чинит чужие велосипеды.

Мастерскую держал старик Пётр Ильич — ворчливый, немногословный, но справедливый; за четыре года он ни разу не похвалил Александра вслух и ни разу не обсчитал его при расчёте. Александр знал, что старик собирается через год-два отойти от дел, и втайне надеялся, что мастерская достанется ему. Он даже начал откладывать — понемногу, по паре тысяч в месяц, в жестяную коробку из-под чая, спрятанную за книгами.

Про эту коробку не знал никто, даже мать. Он собирался сказать ей, когда наберётся сумма, которую не стыдно назвать вслух, — и представлял себе этот разговор так подробно, будто уже репетировал: как он выложит деньги на кухонный стол, как она сначала не поверит, потом рассердится («на еду не хватает, а он копит!»), а потом всё-таки заплачет и обнимет его. Ему было двадцать, и он был почти уверен, что так всё и будет.

Мать звали Ниной Андреевной. Она работала на фабрике сменами по двенадцать часов, приходила домой уставшая, и вся её нежность к сыну выражалась не в словах, а в мелочах: в оставленном на плите ужине, в починенной без просьбы куртке, в том, как она молча выключала свет в его комнате, когда он засыпал над телефоном. Они почти не разговаривали о важном. Им обоим казалось, что времени впереди ещё очень много.

Девушку из соседнего двора звали Катей, и Александр знал про неё ровно три вещи: что она учится на медсестру, что у неё есть рыжий кот по кличке Апельсин и что она смеётся,

склоняя голову набок. Он собирался подойти к ней в выходные. Он даже придумал первую фразу — глупую, про кота.

Он так и не подойдёт. Кате никто никогда не расскажет, что кто-то три недели собирался с духом ради неё.

Тем вечером он как раз думал об этой коробке. Прикидывал, сколько там уже накопилось и сколько ещё нужно. Считал в уме, сбивался, начинал заново — и от этих подсчётов на душе становилось хорошо и спокойно, как бывает, когда будущее кажется делом решённым.

Город засыпал медленно, нехотя, как засыпает старик, который боится, что не проснётся. Фонари вдоль набережной зажигались один за другим, и жёлтый свет дрожал в лужах после недавнего дождя. Пахло мокрым асфальтом и близкой осенью — тем особым запахом, что предвещает скорое увядание листвы, но ещё не приносит с собой холода. Александр шёл, засунув руки в карманы куртки, насвистывая какую-то мелодию, привязавшуюся к нему ещё с обеда, и думал о совершенно обыденных вещах: о том, что завтра нужно успеть починить старый мопед соседа, о том, что мать снова будет ворчать, если он вернётся слишком поздно, о девушке из соседнего двора, с которой он третий день собирался, но всё никак не решался заговорить.

Позади него никого не было. Впереди тоже. На набережной в этот час вообще почти никого не было — пара припозднившихся прохожих далеко у моста, и всё.

Но задолго до того, как он вышел на эту набережную, задолго до того, как ему оставалось жить последние четверть часа, — в другом месте, недоступном человеческому глазу, собрались те, кто уже тысячи лет ходил по земле, оставаясь невидимым.

II

Их было семеро. Они не старели и не умирали — во всяком случае, не так, как умирают люди. Каждый из них хранил книгу: не бумажную, а живую, сотканную из судеб, — книгу, в которую записывалась история тех, кто прошёл через его руки.

Флерн хранил Книгу Огня и помнил каждый костёр, каждый пожар, каждую искру страсти, что когда-либо вспыхивала в человеческом сердце; он был порывист и прям, и в его облике постоянно что-то потрескивало и осыпалось искрами, будто даже стоять спокойно было для него подвигом самообладания. Шароу владел Книгой Тьмы и знал цену всякому страху — он говорил редко, но каждое его слово будто оседало на плечи собеседника невидимой тяжестью. Элия несла Книгу Света — свет, который иногда бывает обманчивее самой тьмы, — и в её голосе всегда звучала нежность, за которой пряталась немалая усталость. Гротон, тяжёлый и неспешный, хранил Книгу Земли и говорил так, будто каждое слово приходилось поднимать, точно камень. Орин несла Книгу Воды — в ней было куда больше от плакальщицы, оплакивающей весь мир разом, чем от бесстрастного судьи; за прошедшие века она выучилась утешать чужую боль лучше, чем кто бы то ни было, кроме, пожалуй, себя самой. А лёгкий, вечно ускользающий Кайр хранил Книгу Воздуха и никогда не задерживался на одном месте дольше, чем требовалось, чтобы произнести свою реплику.

Седьмым был Эрнхо, хранитель Книги Теней — книги о том, что происходит с человеком после смерти. Четыреста лет он записывал в неё жизни умерших, четыреста лет вёл счёт чужим страданиям и чужим прощениям. Он не судил их и не распоряжался ими: ни одна душа за эти четыре века не прошла через его руки, и ни одной он не мог ни помочь, ни помешать. Он только записывал то, что уже свершилось, — и в этом заключалась вся его должность. Теперь его собственное пламя гасло — так гаснет свеча, которая слишком долго горела в комнате без окон, отдавая свет, но не получая взамен ничего.

— Я созвал вас, — произнёс он, и голос его прозвучал глухо, будто доносился не изо рта, а откуда-то из-под земли, — потому что больше не в силах нести эту книгу. Я устал записывать. Я закрыл её — в последний раз, сегодня ночью, за час до этой нашей встречи.

Флерн подался вперёд, и по его плечам пробежали отсветы, похожие на пламя, которое никак не может решить, разгораться ему или гаснуть.

— Что ж, Эрнхо. Покажи нам его — того, кому предстоит занять твоё место.

— Мало времени осталось, — тихо добавил Шароу, и тьма вокруг него будто сгустилась ещё плотнее в знак согласия.

— Открой же дверь к его глазам, — произнёс Гротон, и земля под ногами духов чуть слышно вздрогнула.

— Ты уверен в своём выборе, Эрнхо? — тихо спросила Орин. — Ты искал его долго.

— Я искал его почти год, — ответил Эрнхо. — Из тысяч я выбрал одного. Не за силу и не за храбрость — за то, что в нём ещё жива способность сомневаться в себе самом. Тот, кто слишком уверен в своей правоте, плохо годится в судьи чужих душ.

Эрнхо поднял руки к невидимому небу. Между его ладонями родился свет — не яркий, а какой-то усталый, будто сотканный из последних сил, — и в этом свете начал проступать силуэт человека. Юноша. Тёмные волосы, острые скулы, глаза, в которых угадывалась смесь упрямства и растерянности — так смотрят люди, которые привыкли справляться сами и ещё не знают, что бывают беды, с которыми не справиться в одиночку.

— Так смотрите, — сказал Эрнхо.

— В нём есть пламя, — заметил Флерн.

— В нём есть тьма, — отозвался Шароу.

— И даже свет, — добавила Элия, и в её голосе прозвучало нечто похожее на сожаление.

— Ему всего двадцать лет, — вздохнула Орин, и в этом вздохе была вся тяжесть воды, что точит камень столетиями. — Жаль лишать его жизни так рано. Он ещё даже не влюблялся по-настоящему.

— Жалость сейчас неуместна, — заметил Кайр. — Или ты предлагаешь оставить книгу без хранителя? Мир без баланса недолго продержится, Орин, ты знаешь это не хуже меня.

— Я не предлагаю ничего, — тихо ответила Орин. — Я лишь позволяю себе на миг пожалеть о том, что должно случиться.

— Ты позволяешь себе это слишком часто в последние столетия, — заметил Флерн, и в голосе его прозвучало предостережение, которого, кроме Орин, никто не уловил.

— А ты — слишком редко, — парировала она. — Когда-нибудь ты обнаружишь, что от тебя самого осталось одно только пламя без всякого света.

— Довольно, — оборвал их Гротон своим тяжёлым, неспешным голосом. — Мы собрались не для того, чтобы препираться. Эрнхо уходит. Это важнее наших застарелых разногласий.

Наступило молчание — то особое, вязкое молчание, что повисает между теми, кто знаком слишком давно и успел сказать друг другу всё, что имело смысл говорить. Каждый из шестерых понимал, что сегодня они теряют седьмого — и что рано или поздно точно так же потеряют и каждого из оставшихся, включая самих себя.

— Скажи хоть слово, Эрнхо, — тихо попросила Элия. — Ты ведь молчишь весь вечер.

— А что тут говорить? — отозвался Эрнхо. — Всё уже сказано за четыреста лет. Я просто устал. Устал настолько, что даже прощаться сил не осталось.

III

— Во мне осталось мало сил, — продолжил Эрнхо, опуская руки. — Я слабею. Я исчезаю. Мир людей я покидаю — сегодня, сейчас, в эту самую минуту, пока мы говорим. Четыреста лет — долгий срок даже для духа. Я устал быть тем, кто видит всё и не может ничего.

Вы хоть держите свои стихии в руках; а я четыре века читаю, как они мучаются, — и только перекладываю это на бумагу.

— Что ж, — сказал Флерн, и в его голосе не было ни жестокости, ни сострадания — только констатация закона, который старше всех присутствующих. — Тогда тебе придётся оборвать его нить. Один раз за всю службу нам дозволено это — и только ради преемника; иначе кольцо не признает нового хозяина. Готов ли ты сделать это своей же рукой, в свой последний, чёрный день?

Эрнхо смотрел на юношу, застывшего в свете между его ладонями, — на того, кто в этот момент шёл по мокрой набережной, ни о чём не подозревая, насвистывая какую-то мелодию.

— Я за четырёста лет не оборвал ни одной жизни, — тихо сказал он. — Я записал тысячи смертей и ни к одной не приложил руки. А теперь, под самый конец, мне велят начать — и начать с того, кто меня продолжит.

— Иначе никак, — заметил Шароу. — Живым кольцо не даётся. Кто-то должен провести его через эту дверь, и сделать это может только тот, кто её держит.

— Да, — сказал наконец Эрнхо. — Готов.

— Тогда сделай это, — произнесла Элия. — Один раз. И довольно.

Тени духов сомкнулись вокруг силуэта, продолжавшего жить жизнью человека, которого они видели.

Эрнхо не поднял руки. У него и не было власти отнимать чужие годы — ничего не было, кроме кольца, в котором четырёста лет спало что-то, чего он так и не узнал. Он просто протянул к образу ладонь и снял печать — на одно мгновение, впервые и в последний раз.

Он и сам не понял, что именно при этом вышло наружу.

А на земле, в ту же секунду, на пустой набережной остановилось сердце.

Просто остановилось — без боли, без удара, без всякой причины, какую потом сумели бы найти врачи. Александр сделал ещё полшага и понял, что не может сделать следующего. Мир не разорвался и не потемнел; он сделался очень тихим и очень далёким, как бывает, когда ныряешь и звук остаётся наверху. Фонарь над головой качнулся — вернее, качнулся он сам. Колено ударилось об асфальт, и он этого удара не почувствовал.

Последней его мыслью было — как ни странно — не страх, а удивление: неужели вот так, без всякого предупреждения, заканчивается всё?

Он лежал щекой на мокром асфальте, и асфальт был холоднее, чем должен быть, а голоса случайных прохожих отдалялись, будто их уносило водой.

А потом наступила темнота — но не та темнота, которую он знал.

IV

— О нет... что со мной? — прошептал он, и голос его прозвучал так, будто доносился из пустой комнаты.

— Ты в пустоте, — ответил ему кто-то — не голос, а скорее присутствие, обращённое прямо к его сознанию.

— Но что это значит?

— Ты умер. Как все умирают. Посмотри вокруг — одна темнота. Не бойся, я не смерть.

— Тогда кто ты?

— Я чувствую твой страх и лёгкий испуг. Оставь сомнения. Я тебе друг.

— Друг? — Александр попытался взглянуть в темноту, но не увидел ничего, кроме густой, почти осязаемой черноты. — Но почему я не вижу тебя? О... что за свет там, впереди? Он меня манит.

— Свет бывает обманчив, — предупредил голос. — Иди осторожно. Но этот свет должен привести тебя к нам.

— А кто вы?

— Не бойся нас. Мы тоже когда-то были живы — просто наш огонь ещё не погас.

Свет в конце этой странной черноты не был похож ни на что знакомое: он не слепил, не грел, а просто указывал направление — так, как указывает дорогу маяк кораблю, который уже не сможет повернуть назад. Александр шёл к нему и, идя, вспоминал — не всю жизнь разом, а отдельные её обрывки: материнские руки, запах хлеба по утрам, первый снег, к которому он бежал босиком, не слушая криков «простудишься», смех отца, которого он почти не помнил, а всё же помнил именно смех, а не лицо. Он вспомнил девушку из соседнего двора и пожалел, что так и не решился с ней заговорить. Он думал о том, что это неправильно — что он ещё столько всего не успел, что он отдал бы всё, лишь бы вернуться, лишь бы ещё раз обнять мать, — но у смерти, как оказалось, не спрашивают согласия.

Он думал и о ней — о матери. О том, как она будет ждать его сегодня к ужину и не дожждётся. Как позвонит раз, другой, третий. Как решит сперва, что он загулял с приятелями, потом рассердится, потом испугается. Как будет обзванивать больницы, путая номера и извиняясь перед каждым, кто снимет трубку. Как в конце концов ей всё скажут — и как она услышит это.

Ему стало невыносимо от этой мысли — куда невыносимее, чем от самой смерти. Умереть, как выяснилось, было почти легко. Тяжело было знать, что он не сможет её предупредить, объяснить, попросить прощения за то, в чём не был виноват.

«Мам, — подумал он, впервые за всю дорогу останавливаясь в темноте. — Прости. Я не хотел».

Никто ему не ответил. Он постоял ещё немного и пошёл дальше — потому что другого направления у него всё равно не было.

Он шёл — час, может быть, вечность, время здесь не имело обычного значения, — и с каждым шагом человеческая часть в нём становилась немного тише, будто уступая место чему-то другому, ещё не имеющему имени.

Когда он вышел на свет, темнота вокруг него разошлась мгновенно, как будто её никогда и не было, и резкая, почти невыносимая ясность на миг ослепила его. А когда зрение вернулось, перед ним стояли семеро.

V

Они не были похожи на людей — и в то же время в каждом из них угадывалось что-то человеческое: очертания фигур, интонации голосов, усталость в глазах у одних и любопытство у других. Один из них — тот, что держал в руках нечто, похожее на книгу, сотканную из теней, — заговорил первым, и голос его дрожал, будто последние силы уходили из него вместе со словами.

— Я Эрнхо. Хранитель Книги Теней. Четыреста лет я вносил в неё записи. Я тот, чей голос ты слышал во тьме.

— Какая ещё книга? — Александр обвёл взглядом стоящих полукругом фигур, всё ещё не понимая, реальность это или самый странный сон в его жизни.

— Та, что теперь станет твоей.

— О чём ты? Что происходит? Кто вы такие?

— Ты скоро узнаешь, — сказал Эрнхо и повернулся к остальным. — Пора, собратья. Сомкнём кольца наших сфер.

— Погоди, — вдруг сказал Александр, и в голосе его прозвучало то самое упрямство, что Флерн заметил ещё в его образе минуту назад. — Я не просил ничего подобного. Я хочу знать, что вы намерены со мной сделать, прежде чем соглашаться хоть на что-то.

Флерн усмехнулся — искры пробежали по его плечам, точно смех, обретший форму.

— А он смелее, чем кажется на первый взгляд, — заметил он.

— Ты не соглашаешься, — мягко произнесла Элия. — Ты просто есть, и то, что должно случиться, случится вне зависимости от твоего согласия. Так было и с каждым из нас, юноша. Так будет и с тем, кто придёт после тебя, — через сто лет, через триста, через тысячу.

— Это не отвечает на мой вопрос, — упрямо сказал Александр.

— Тебе достанется моя роль, — вздохнул Эрнхо. — Роль летописца. Ты будешь читать чужие жизни и вносить их в книгу. Ты не будешь ничего решать: ни кого забрать, ни кого отпустить, ни что с кем станет после смерти. Тебе не дадут такой власти — и слава богу, потому что она никому не по силам. Тяжкая роль, одинокая, а с виду и вовсе пустая, — но необходимая, как необходимо дыхание. Без неё этот мир, который ты знал, попросту рассыплется.

Александр помолчал, вглядываясь в лица — если это можно было назвать лицами — стоявших перед ним духов.

— У меня был выбор? — спросил он наконец, тише.

— Нет, — честно ответил Эрнхо. — Прости меня за это. Но выбора не было ни у кого из нас.

VI

Шестеро подняли руки, и между их ладонями заплесал свет — не такой, как раньше, а живой, пульсирующий, будто у самого времени вдруг забилось сердце. Эрнхо шагнул в центр этого круга и снял с пальца тонкое чёрное кольцо. Затем он поднял взгляд к невидимому небу загробного мира, и в этом взгляде было прощание — не с жизнью, которую он давно оставил, а с самой возможностью существовать.

— Прощайте, — тихо произнёс он, ни к кому в отдельности не обращаясь. — Мне было тяжело среди вас — но и хорошо, насколько это вообще было возможно для того, кем я являлся.

Свет колец пронзил то, что осталось от его души. Кольцо на его ладони вспыхнуло и вобрало в себя последние капли его существования — как земля вбирает воду после долгой засухи. А затем сияние погасло, и там, где секунду назад стоял Эрнхо, осталось лежать лишь кольцо — маленькое, тёмное, будто вырезанное из беззвёздной ночи.

Александр смотрел на это, не в силах ни двинуться, ни заговорить.

Флерн наклонился, поднял кольцо с земли и протянул его Александру.

— Это твоё.

— Моё? — Александр отступил на шаг, но отступать было некуда — пустота вокруг него не имела границ. — Я не понимаю...

— Все мы когда-то боялись, — мягко сказала Элия. — Это твоя судьба — быть рядом с нами.

— Смелее, — произнёс Шароу, и в его голосе прозвучало нечто похожее на ободрение. — Взгляни на него. Оно для тебя. Только твоё. Присмотрись — и ты увидишь в нём своё отражение. И свой дом.

Александр смотрел на кольцо, и чем дольше он смотрел, тем труднее было отвести взгляд. Оно казалось маленьким осколком той самой темноты, через которую он только что прошёл, — и в то же время в его глубине будто светилась крошечная, неугасимая искра.

— Оно меня тянет, — прошептал он. — Но почему?

Никто не ответил. Он протянул руку — и, как только кончики его пальцев коснулись металла, кольцо словно ожило. Сила хлынула в него — не как боль, а как узнавание: будто он всю жизнь искал что-то и наконец нашёл. Тени тех, кто прежде носил это кольцо, — тысячи безымянных хранителей до Эрнхо — на мгновение слились в нём в единое целое, и Александр

ощутил их всех разом: их усталость, их одиночество, их долг, их редкие минуты, похожие на счастье.

Это длилось, наверное, секунду — и растянулось на целые жизни. Он увидел женщину в грубом платье, стоящую у чьего-то смертного одра в комнате с земляным полом; увидел мужчину в доспехе, бредущего по полю после боя и склоняющегося над каждым лежащим по очереди; увидел мальчика лет четырнадцати — совсем мальчика, — который плакал, прижимая книгу к груди, потому что не понимал, за что ему всё это. Он увидел сотни лиц, языков, одежд, эпох — и все они делали одно и то же: подходили, наклонялись, отпускали.

Ни одно из этих лиц не было счастливым. Но ни одно и не было злым.

А потом всё оборвалось, и Александр обнаружил, что стоит на прежнем месте с кольцом на пальце — и что руки у него больше не дрожат.

Он почувствовал, как из земли — вернее, из того, что заменяло землю в этом безграничном пространстве, — начинает утекать жизнь, притягиваясь к кольцу на его пальце. Он понял тайну этой вещи прежде, чем успел испугаться её. И в тот же миг его глаза, ещё секунду назад полные растерянности живого человека, стали мёртвыми — спокойными, глубокими, нечеловеческими.

Он наклонился и поднял с земли книгу, оставшуюся после Эрнхо. Едва его пальцы коснулись переплёта, он ощутил, сколько жизней хранится на этих страницах — тысячи историй, тысячи смертей, спрессованных в один тяжёлый, тёмный том.

— Как твоё имя, хранитель теней? — спросил Гротон.

Александр открыл рот, чтобы назвать своё настоящее имя, — и не смог. Другое слово, чужое и одновременно уже его собственное, само сорвалось с губ:

— Нэирс.

— Нэирс, — повторил Флерн, будто пробуя имя на вкус. — Что ж. Теперь всем нам пора в путь.

VII

— Пора, пора вернуть на землю солнечный луч, — отозвалась Элия.

— Каждый из нас хранит свою книгу, — произнёс Кайр, хранитель Книги Воздуха, до этого молчавший. — Она рассказывает о том, что происходит в мире. И у каждой из наших книг есть своя сфера — своя часть человеческой жизни, своя вера.

— Если тебе будет тяжело, — сказала Орин, — позови нас. Мы придём. Мы почувствуем твоё кольцо.

— И знай, — добавила Элия, — истории в твоей книге — не выдумка. Тысячи жизней, тысячи смертей — вот что хранит Книга Теней. Некоторые из них ты прочтёшь и поймёшь себя лучше, чем понимал прежде. Так было со всеми, кто носил это кольцо до тебя.

— Земля ещё дышит, — произнёс Гротон.

— Реки ещё текут, благословлённые водой, — сказала Орин.

— Там, где пройдена тьма, — начал Шароу.

— ...засияет свет, — закончила за него Элия.

— И горькими слезами будет одет этот мир, — тихо произнёс Нэирс — впервые от своего нового имени, впервые ощущая, как оно ложится на язык, чужое и уже почти родное.

— Где смеются ветра над собой, — сказал Кайр.

— Там вновь возрождается огонь, — закончил Флерн.

— Прощай, Нэирс, — сказал Гротон. — Хранитель теней.

— Прощай, — отозвалась Элия.

— Прощай, — отозвалась Орин, и слеза скатилась по её лицу — не от горя за Нэирса, а от памяти об Эрнхо, который был ей дорог. В этой слезе Орин и растворилась без следа.

Элия вспыхнула ярким светом и исчезла. Флерн растаял в пламени, поглотившем самого себя. Гротон осел в землю, будто её частью и был всегда. Шароу растворился во тьме без единого звука. Кайр развеялся ветром, не оставив по себе даже эха. Один за другим духи покидали это пространство, каждый — в свой мир, а Нэирс остался один — в пустоте, которая отныне была его домом, с книгой в руках и кольцом на пальце, определяющим всю его дальнейшую — вернее, посмертную — судьбу.

VIII

Он стоял долго — по человеческим меркам, наверное, целый час, хотя здесь, в пустоте между мирами, час ничем не отличался от мгновения. Впервые с момента своей смерти он остался наедине с самим собой, и впервые же он позволил себе задуматься не о том, что с ним случилось, а о том, кем он теперь являлся.

«Я больше не Александр, — подумал он. — Хотя, наверное, отчасти всё ещё я. Что от меня осталось, если не считать памяти? Мать не узнает, куда я пропал. Она будет искать меня, будет плакать, будет обвинять себя за то, в чём не виновата. И я ничем не смогу ей помочь — разве что однажды принять её собственную смерть с той же осторожностью, с какой принимал бы её любой живой сын».

Эта мысль отозвалась в нём почти физической болью — не той тупой болью раны, а иной, куда более острой: болью осознания, что прежняя жизнь закончилась безвозвратно, и ничто уже не вернёт тех обыденных, ничем не примечательных дней с мастерской, с материнским ворчанием, с несмелыми взглядами в сторону девушки из соседнего двора.

Он раскрыл книгу.

Она открылась легко, будто ждала этого. Переплёт был тёплым — не как нагретая вещь, а как живое существо; страницы на ощупь оказались плотнее бумаги и мягче кожи. Записи шли без дат и без всякого порядка: чья-то жизнь занимала двадцать страниц, чья-то умещалась в три строки, и Нэирс не сразу понял, отчего так, — а поняв, содрогнулся. Длина записи не зависела ни от прожитых лет, ни от славы, ни от добрых дел. Она зависела только от того, сколько в этой жизни было боли.

Почерк менялся от главы к главе. Иногда — резкий, торопливый, с брызгами и помарками; иногда — ровный, аккуратный, будто человек писал, стараясь не думать о том, что пишет; иногда буквы становились мелкими до нечитаемости, словно тот, кто их выводил, к концу совсем ослабел. Нэирс перелистывал страницы и понимал, что видит перед собой не одну книгу, а десятки рук, сменявших друг друга столетиями. Где-то здесь был почерк Эрнхо. Где-то — того, кто был до него. И где-то впереди, на чистых листах, должен был появиться его собственный.

Он попробовал провести пальцем по пустой странице — и на ней, откуда ни возьмись, проступила одна-единственная строка: имя старика, чью смерть он ещё даже не принял.

Нэирс поспешно закрыл книгу. Ему стало не по себе.

Страницы шелестели под его мёртвым, но по-прежнему цепким взглядом — одна за другой, и в каждой страдание и боль сплетались так тесно, что было невозможно понять, где заканчивается одна история и начинается следующая. Он листал книгу так, как живой человек в детстве перелистывал бы страшные сказки, — с ужасом и одновременно с невозможностью оторваться.

IX

Он закрыл книгу и некоторое время просто стоял, держа её в руках, пытаясь понять, чего от него, собственно, теперь ждут.

В ту же — если здесь вообще уместно слово «ту же» — ночь к нему впервые пришёл Шароу.

— Ты ждёшь, что тебе скажут, что делать, — заметил хранитель тьмы, возникнув из сгустившегося мрака без всякого предупреждения. — Все новички ждут. Не скажут. Никто не придёт и не даст тебе поручения.

— Тогда зачем я здесь? — спросил Нэирс.

— Затем, что ты носишь кольцо, — ответил Шароу. — Этого достаточно. Ты просто есть — и, пока ты есть, всё стоит на своих местах. Вот и вся служба. Всё остальное — книга.

— И я ничего не должен делать?

— Ничего, — сказал Шароу. — Ты ничем не управляешь. Ты никого не судишь. Ты не решаешь, куда отправится тот, чью смерть ты только что прочёл. Если тебе однажды захочется вмешаться — а захочется непременно, — ты обнаружишь, что тебе попросту нечем.

— А что в нём? — спросил Нэирс. — В кольце.

Шароу помолчал.

— В наших шести — то, чего тебе пока знать не нужно, — сказал он наконец. — А в твоём... честно говоря, не знает никто. Эрнхо не знал тоже, я спрашивал. Мы привыкли считать, что седьмое кольцо просто седьмое.

— И это всё?

— Это гораздо больше, чем кажется, — сухо сказал Шароу. — Не жди от нашей доли удовлетворения. Его не будет. Будет только необходимость — и постепенное привыкание к ней.

— А ты привык?

Шароу помолчал — достаточно долго, чтобы молчание это стало красноречивее любого ответа.

— Я храню книгу страха, — произнёс он наконец. — В ней записан каждый ужас, что когда-либо испытывал человек: страх темноты, страх смерти, страх остаться одному, страх причинить боль тем, кого любишь. Я ношу это в себе уже семьсот лет. Привык ли я? Пожалуй, нет. Но научился не позволять этому себя разрушать — а это, как выяснилось, разные вещи.

— Почему ты пришёл? — спросил Нэирс.

— Потому что Эрнхо просил, — просто ответил Шароу. — В последние свои дни он обошёл каждого из нас и попросил присмотреть за тем, кто придёт после него. Он был странным существом, Эрнхо, — из тех, что заботятся о других даже тогда, когда о них самих уже некому позаботиться. Так что считай, что я исполняю чужую просьбу, а не проявляю участие. Мне так проще.

Он растворился во тьме так же внезапно, как появился, — но Нэирс ещё долго стоял, глядя туда, где только что было его присутствие, и думал о человеке, которого видел лишь несколько минут перед его исчезновением, но который, как выяснилось, позаботился о нём заранее, будто о родном сыне.

Этот короткий обмен словами Нэирс потом вспоминал чаще любого другого разговора за всё своё существование. Тогда он не придавал ему значения — мало ли чего не знают даже те, кто живёт тысячу лет. Он решил, что это просто пробел, мелкая небрежность в устройстве мира, которых наверняка хватает.

Ему и в голову не пришло, что пробел может быть сделан нарочно.

Позже приходили и другие.

Кайр появился на второй или третий день — трудно сказать точнее, время здесь измерялось не сутками, а числом прочитанных страниц. Он был лёгок, быстр и говорил так, будто торопился куда-то ещё.

— Не привязывайся к ним, — бросил он вместо приветствия. — К тем, про кого читаешь. Первые сто лет все привязываются, потом перестают. Сэкономь себе сто лет.

— А если не хочу экономить? — спросил Нэирс.

Кайр посмотрел на него с искренним недоумением.

— Странный ты, — сказал он и исчез.

Гротон пришёл позже и молчал почти всё время, что находился рядом. Он просто стоял, тяжёлый и неподвижный, и наконец произнёс одну-единственную фразу:

— Если будет невыносимо — скажи. Не терпи молча. Эрнх терпел молча.

Элия не приходила вовсе. Флерн явился один раз, оглядел Нэирса с ног до головы и заметил, что новый хранитель теней «подозрительно спокоен для человека, умершего на прошлой неделе», после чего удалился, не дожидаясь ответа.

Орин пришла последней — и осталась дольше всех.

Она не давала советов и ничего не объясняла. Она просто спросила, как его звали раньше.

— Александр, — сказал он и удивился, до чего трудно далось это слово.

— А меня никак, — отозвалась она. — То есть было, конечно, но я не вспомню. Тысяча лет.

Она села рядом — вернее, приняла ту позу, какую в этой пустоте принимают вместо того, чтобы сесть, — и некоторое время они молчали.

— Первое время будет плохо, — сказала она наконец. — Не оттого, что тяжело смотреть, как умирают. К этому привыкают. Плохо будет оттого, что ты начнёшь забывать.

— Что забывать?

— Всё. Голос матери. Свою улицу. Какой был вкус у хлеба, который ты ел по утрам. — Она помолчала. — Это уходит не сразу. Сначала кажется, что помнишь всё, потом замечаешь, что не можешь вспомнить какую-нибудь мелочь, потом — что не помнишь лицо. Никто из нас не знает, почему так. Может, кольцо забирает. Может, просто время.

— И что делать?

— Ничего, — сказала Орин. — Но ты попробуй записать. Хоть что-нибудь. У тебя книга под рукой — в ней ведь есть пустые страницы.

— Разве туда можно?

— Туда всё можно, — усмехнулась она. — Просто никто не пробует.

Она ушла, не прощаясь. А Нэирс потом, позже, всё-таки попробует — и на последней странице Книги Теней появятся четыре строки, не имеющие никакого отношения к чужим смертям: имя женщины по имени Нина Андреевна, название улицы, кличка чужого рыжего кота и фраза «мать пекла хлеб по субботам».

Он вернулся к книге, которую всё это время продолжал держать в руках, — и вновь нашёл взглядом тот самый заголовок, на котором остановился прежде.

И вдруг его взгляд остановился на заголовке: «Раскаяние вампира».

Нэирс — тот, кто когда-то был Александром, — взгляделся в первые строки, и мир вокруг него начал меняться, как будто книга не просто рассказывала историю, а погружала в неё того, кто читает.

* * *

КНИГА ПЕРВАЯ. Раскаяние вампира

I

Молодая земля ещё не знала, что такое настоящая война.

Это было время, когда леса стояли гуще, чем сейчас, реки текли чище, а люди ещё верили, что тьма — это просто отсутствие света, а не отдельный, дышащий, голодный мир. В те века жили вампиры — и уже тогда они не были единым народом. Разделённые задолго до всякой памяти, они отличались друг от друга не только внешностью, но самым устройством души, тем, ради чего они цеплялись за бессмертие.

Были среди них Носферату — самые древние, самые звероподобные. В минуты голода разум их застилало туманом, и тогда не оставалось ничего, кроме жажды, кроме инстинкта, кроме крови. Их боялись даже другие вампиры — боялись той бесстрашной, тупой силы, что жила в их жилах. Жили они порознь, редко объединяясь даже друг с другом, и человеческие поселения обходили их земли по широкой дуге, зная — хоть и не признаваясь в этом вслух, — что там, где прошли Носферату, надолго остаётся лишь тишина.

Были и Ларду — их полная противоположность. Вампиры-романтики, как называли их люди, что осмеливались подойти достаточно близко, чтобы разглядеть. Красивые почти до неправдоподобия, ранимые, они легче всех проливали слёзы — и именно эта ранимость, как ни странно, спасала их разум там, где другие расы теряли себя в голоде. Ларду умели любить — по-настоящему, с той полнотой чувства, что редко достаётся даже смертным, — и умели горевать так, что горе это, казалось, могло бы напитать реки слезами на десятилетия вперёд.

Были Миньоны — те, кто считал себя истинным воплощением вампирской природы: честолюбивые, гордящиеся своей «чистотой», презирающие и диких Носферату за их неразборчивость в крови, и сентиментальных Ларду за их слабость. Миньоны строили города — тайные, невидимые для человеческого глаза, — и в этих городах царил жёсткий, почти армейский порядок, где всякое проявление чувства почиталось за уязвимость. Власть у Миньонов передавалась не по крови, а по праву сильнейшего: каждый вожак должен был раз в десятилетие подтверждать своё право на трон в поединке с любым, кто осмелится бросить ему вызов, — и потому вожди Миньонов менялись чаще, чем вожди прочих рас, но каждый новый оказывался безжалостнее предыдущего.

И были, наконец, Бруджи — потомки Носферату, в которых звериный инстинкт предков ослаб, но не исчез: достаточно разума, чтобы держать себя в руках, и достаточно силы, чтобы внушать страх. Бруджи охотно служили Миньонам — не из преданности, а потому что порядок последних давал их собственной, полуукрощённой дикости надёжную опору.

Между четырьмя расами испокон веков царило хрупкое, ничем не закреплённое равновесие: слишком разные, чтобы объединиться, слишком связанные общей кровью, чтобы истребить друг друга полностью. Ларду держались особняком, селясь на окраинах человеческих земель, где могли хотя бы отчасти прикидываться людьми; Носферату не селились нигде, бродя в одиночку по диким пущам; Бруджи и Миньоны, напротив, тяготели друг к другу, образуя союз силы и порядка, который остальные расы издавна считали самым опасным из всех возможных.

Много веков минуло с последней большой войны между расами — войны, о которой не хотелось вспоминать никому из выживших. Легенды сохранили о ней немного: что началась она из-за убийства, что длилась она без малого столетие, что земля в тех краях, где прошли главные битвы, до сих пор, если верить старикам, не родит ничего, кроме чёрного, горького на

вкус чертополоха. Но память земли длиннее человеческой, и однажды, в одну самую обычную с виду ночь, тишина расколола себя криками.

Меня зовут Ролон. Я из расы Ларду.

II

Я не был воином. Я не искал славы и не жаждал власти — всё, чего я хотел, умещалось в стенах маленького дома на краю деревни, где меня ждали жена и дочь. Мою жену звали Марен — она была из простой, немолодой семьи ткачей, и в её руках всякая ткань, всякая нить обретала подобие судьбы, сплетённой заново. Я познакомился с ней случайно, во время странствия, которое, как мне казалось тогда, ничем не должно было закончиться; но стоило мне увидеть, как она поднимает голову от станка и смотрит на меня — спокойно, без страха, без того привычного людского ужаса, каким нас обычно встречали, — и я понял, что ни в какое дальнейшее странствие уже не отправлюсь без неё.

Она узнала, кто я такой, на третий месяц нашего знакомства — я сам сказал ей, не выдержав тяжести умолчания.

— Ты можешь уйти, — добавил я тогда. — Я пойму. Так поступил бы любой на твоём месте.

Марен долго молчала, перебирая пальцами нить, которую держала в руках, — она всегда так делала, когда думала о чём-то важном.

— Ты кого-нибудь убивал? — спросила она наконец.

— Нет, — ответил я. — Никогда.

— Тогда чего мне бояться? — просто сказала она. — Люди, которых я знаю с детства, убивали. Некоторые — не по разу. И никто из них не удосужился признаться мне в этом сам.

Так закончился весь мой страх перед разоблачением — и так начался единственный по-настоящему счастливый отрезок моей бесконечной жизни. Её отец, старый ткач, догадывался о моей природе, но ни разу не заговорил об этом вслух: он лишь смотрел на меня иногда долгим, оценивающим взглядом, а потом молча наливал мне вина, будто заключая безмолвный договор, который я старался не нарушать.

Соседи привыкли ко мне не сразу. Первые годы они держались настороженно, но ничего дурного я им не делал, а руки у меня были умелые — я чинил им крыши, ставил заборы, помогал на охоте, и понемногу настороженность сменилась той будничной, ничем не примечательной привычкой, с какой люди принимают в свой круг всякого, кто не причиняет им вреда достаточно долго.

Наша дочь родилась тихой ночью, в разгар зимы, и мы называли её Лиэн. Она была из тех детей, что смеются легко и по любому поводу, — а для существа, подобного мне, для которого смех давно стал редкостью, этот детский смех был подобен чуду, повторяющемуся ежедневно.

Мы жили тихо — настолько тихо, насколько это вообще возможно для существ, которых люди привыкли бояться. Мы не хотели зла никому. Мы просто хотели жить — по-своему, но жить. Марен ткала, я помогал соседям чем мог — плотницким делом, охотой по ночам, когда никто не видел, как ловко я умею отслеживать зверя, — и постепенно, шаг за шагом, деревня привыкла к тому, что среди неё живут те, чья природа отличается от природы прочих, но чьё сердце бьётся так же, как у любого другого отца, любого другого мужа.

В ту ночь небо будто налилось чёрной кровью. Дождь, что пошёл вслед за этим, был не водой — он смывал последние наши надежды, стекая по крышам, по лицам, по вискам тех, кто ещё не понимал, что происходит. Я помню, что в тот вечер Лиэн капризничала, не желая засыпать, и Марен пела ей колыбельную — ту самую, что пела ей самой её собственная мать много лет назад, — и я стоял в дверях, слушая этот голос, и думал, что счастливее меня, наверное, не было существа на этой земле.

А потом на холмах вокруг нашей деревни появились они — десятки тысяч теней, вооружённых ненавистью гораздо сильнее, чем любым оружием. Бруджи и Миньоны, забывшие о законах, которые, как нам казалось, объединяли всех вампиров хоть в чём-то. Им было неведомо милосердие. Им была неведома жалость. Они пришли убивать Ларду — одного за другим, деревню за деревней, не разбирая ни возраста, ни вины, ни самой возможности вины.

III

Я услышал крики раньше, чем понял, что происходит. Выбежав на улицу, я увидел, как соседний дом — дом старого плотника, у которого я учился ремеслу, — вспыхнул целиком, будто его облили маслом, и из его окон донёсся вой, от которого стыла даже моя, не человеческая, кровь.

Дальше всё смешалось. Я помню отдельные картины, вырванные из общего хаоса, — так, как помнят страшный сон наутро. Женщину из дома напротив, бегущую через улицу с младенцем на руках; чью-то тень, настигшую её у самой изгороди. Старика Верена, всю жизнь пасшего коз на холме, — он вышел навстречу нападавшим с одними вилами, крича им что-то, и его смяли, даже не замедлив шага. Горящую крышу нашей маленькой часовни — мы построили её сами, всей деревней, три года назад, и она горела так быстро, будто только этого и ждала.

Я помню запах. Об этом почему-то никогда не говорят в сказаниях о битвах — а между тем запах остаётся в памяти дольше всего остального: горелое дерево, горелая шерсть, горелая плоть, и поверх всего — густой, сладковатый запах крови, от которого во мне, помимо ужаса, шевельнулся голод, и это было самое омерзительное из всего, что я пережил в ту ночь.

— Марен! — закричал я, бросаясь обратно в дом. — Бери Лиэн, бежим!

Но было уже поздно. Дверь сорвало с петель прежде, чем я успел до неё добежать, и в проёме возникли трое — с глазами, полными той самой, лишённой всякого разума ненависти, что я видел прежде только в самых страшных легендах о войнах прошлого.

У меня была семья. Жена и дочь — маленькая, ещё не понимающая, что такое страх, только начинающая понимать, что такое смех.

Когда они ворвались в наш дом, я не смог их защитить.

Я видел, как их разрывали на части — прямо на моих глазах, — и свет, который был в моей жизни, иссяк за считанные мгновения, будто его никогда и не существовало. Марен успела заслонить собой Лиэн — это было последнее, что она сумела сделать, последний материнский жест, — и оба они умерли почти одновременно, так что я даже не могу сказать с уверенностью, кого из них я потерял первым.

А я — я струсил. Я ценил свою жизнь больше, чем должен был. Когда один из нападавших повернулся ко мне, я не бросился в бой, не попытался хотя бы отомстить за тех, кого только что потерял, — я бежал, пока хватало сил, оставляя позади всё, что делало меня тем, кем я был. Бежал через горящую деревню, мимо горящих домов соседей, мимо криков, которые я узнавал, — мимо собственной жизни, которая рассыпалась в прах за моей спиной, пока я спасал единственное, что у меня осталось: свою собственную, никому уже не нужную шкуру.

Я много раз потом прокручивал в голове ту минуту. Что я мог сделать? Их было трое, и каждый сильнее меня; я не был воином, я чинил крыши и ставил заборы. Разумом я понимаю, что погиб бы там же, в двух шагах от них, и ничего бы не изменилось.

Но дело ведь не в этом. Дело в том, что я не выбирал. Я не взвесил и не решил остаться или уйти — тело решило за меня раньше, чем включилась хоть одна мысль. Оно развернулось и побежало.

И вот с этим — не с их смертью, а с тем, что во мне оказалось это — я и живу с тех пор.

С тех пор мне остаётся лишь одно — горевать. Я не могу жить спокойно. Я не могу спать по ночам, потому что стоит закрыть глаза, и я снова слышу их крики. Расплата, месть — моя вина, а не чья-то ещё. Жизнь, которую я не сумел защитить, ушла, и осталась лишь смерть — моя собственная, растянутая на десятилетия одиночества.

IV

Я бежал дни и ночи напролёт, и воспоминания преследовали меня, как гончие: «Я не смог им помочь. Я не смог им помочь». Боль изнутри разъедала меня медленнее и мучительнее любого клинка. Я миновал десятки деревень, десятки городов — везде, где я останавливался хотя бы на день, мне казалось, что я вижу лицо Марен в лицах случайных прохожих, слышу смех Лиэн в смехе чужих детей, и это было невыносимее любой погони.

В конце концов я нашёл пещеру — сырую, тёмную, забытую даже эхом, высоко в горах, куда не забредал ни человек, ни зверь. Ночь приютила меня в тот первый раз, а потом приютила ещё раз, и ещё, и так минули годы. Я стал отшельником — вдали от всех забот, вдали от всякой любви, вдали от старых невзгод, которые, впрочем, никуда не делись, а просто перестали иметь значение, потому что новых радостей у меня не появилось.

Я перестал считать дни. Перестал следить за сменой времён года — снаружи менялась листва, менялся снег, менялся дождь, а внутри пещеры всегда царила одна и та же, неизменная темнота, в которой я хотя бы отчасти чувствовал себя дома. Иногда, в минуты особенно острого голода, я выходил на охоту — не на людей, никогда на людей, — и питался кровью зверья, довольствуясь малым, будто наказывая себя даже за это скромное продолжение существования.

Раз в несколько десятилетий мимо моих гор проходили странники — люди, торговцы, изредка другие вампиры, — и я, наблюдая за ними издали, невидимый, узнавал о том, как меняется мир снаружи. Я узнал о падении одного королевства и возвышении другого, о новых болезнях, косивших человеческие деревни не хуже иной войны, о новых верах, приходивших на смену старым. Однажды, лет через сто после гибели Марен и Лиэн, я увидел проходящую мимо семью — отца, мать и маленькую дочь, — и девочка так напомнила мне Лиэн смехом, движением рук, самым наклоном головы, что я, не выдержав, позволил себе наконец плакать — по-настоящему, без остатка, до полного изнеможения, там, в темноте своей пещеры, где никто не мог увидеть моего позора.

В другой раз, спустя ещё несколько десятилетий, я встретил старого Ларду — одного из тех немногих, кто, подобно мне, пережил ту страшную ночь много веков назад, хотя и не из моей деревни. Он остановился у входа в мою пещеру, почуяв во мне родственную кровь, и мы просидели вместе три ночи подряд, не сказав друг другу, быть может, и сотни слов, — но в этом молчании было больше понимания, чем в иной долгой беседе.

— Ты всё ещё винишь себя, — заметил он на третью ночь, не спрашивая, а утверждая.

— А ты нет? — спросил я в ответ.

— Винил, — признался он. — Долго. А потом решил, что моя вина никого не вернёт к жизни, зато отравляет ту жизнь, что осталась у меня самого. Не лучший обмен, если подумать.

— Легко сказать, — ответил я.

— Легко, — согласился он. — Сделать труднее. Я до сих пор не уверен, что сумел это сделать до конца. Но пытаюсь, Ролон. Каждый день пытаюсь заново.

Он ушёл на четвёртую ночь, и больше мы никогда не встречались — но его слова остались со мной, застряв где-то на границе разума и памяти, всплывая вновь и вновь в самые тёмные из моих бесконечных ночей.

Звали его Дален. Он был старше меня лет на двести и помнил ещё те времена, когда Ларду жили открыто, не прячась, — и рассказывал об этом так, как старики рассказывают о

собственной молодости: с недоверием к самим себе, будто не уверены, что всё это было на самом деле.

— Мы ведь не всегда прятались, — говорил он, глядя в темноту у входа в пещеру. — Были города, где нас знали в лицо. Были храмы, где нам не отказывали. А потом что-то сдвинулось — не за год и не за десять лет, а так, исподволь. Сначала перестали здороваться. Потом перестали пускать. Потом придумали, будто мы во всём и виноваты. Я до сих пор не могу вспомнить, когда именно это началось.

— Может, с какой-нибудь мелочи, — предположил я.

— Всегда с мелочи, — согласился он. — В том-то и беда.

Он спросил меня, есть ли у меня имя, которым меня называли до всего случившегося, и я ответил, что имя у меня одно и оно прежнее. Дален покачал головой.

— Значит, ты ещё не смирился, — заметил он. — Те, кто смирился, обычно берут себе другое. Так проще: будто тот, прежний, умер вместе со всеми, а этот — новый — уже ничего никому не должен.

— А ты взял?

— Дважды, — сказал он. — И оба раза не помогло.

Сомнения терзали меня каждую ночь. Прощения мне не было — я знал это твёрдо, как знают самую простую истину. Я раскаялся. Но раскаяние без действия — лишь слова, а слова, как известно, бумага стерпит всё. Я говорил себе: если бы я остался, если бы я бился, я бы всё равно погиб, и это ничего не изменило бы для Марен и Лиэн. Но эта мысль не приносила утешения — потому что дело было не в исходе, а в том, что я даже не попытался. Я выбрал бегство прежде, чем узнал, к чему привёл бы бой, и этот выбор, сделанный за долю секунды, определил всю мою последующую, бесконечно долгую жизнь.

И вот однажды, в один из бесчисленных тёмных вечеров, я почуял их. Своих собратьев. Они шли — тысячи их, — и в их движении было что-то похожее на зов, на который я не мог не откликнуться.

Я вышел из пещеры — впервые с тех пор, как в неё вошёл, — и присоединился к ним.

Первые часы дались мне тяжелее, чем все прошедшие века. Я отвык от чужих голосов; от того, что кто-то идёт рядом; от необходимости отвечать, когда к тебе обращаются. Меня спросили, как меня зовут, — и я не сразу вспомнил собственное имя, настолько давно я его не произносил вслух.

— Ролон, — сказал я наконец.

— Из какой деревни?

Я назвал. Тот, кто спрашивал, кивнул, не задавая больше вопросов: название говорило само за себя, и все в колонне уже знали, что означает такой ответ.

Меня приняли просто — как принимают ещё одну пару рук. Никто не расспрашивал, где я был всё это время и почему не пришёл раньше. Возможно, из деликатности. Возможно, потому что у каждого второго был свой собственный ответ на этот вопрос, которым он тоже не спешил делиться.

Странно, но за первую же ночь пути я вспомнил о себе больше, чем за все годы в пещере. Как будто человек — или не человек — существует лишь тогда, когда рядом есть кто-то ещё, а в одиночестве понемногу перестаёт быть кем бы то ни было вовсе.

V

Их вёл Лиарон.

Когда свет, казалось, погас для всех нас окончательно, именно он сумел зажечь его заново. Он ценил каждый миг — не потому что был наивен, а потому что видел цену, которую жизнь и смерть назначают друг другу без предупреждения. Он собрал нас — тех немногих,

кто уцелел, потерял дом, потерял семью, — и повёл вперёд, глядя на небо так, будто оно всё ещё было ему что-то должно.

Лиарон когда-то был воином — настоящим, ещё до всех войн между расами, — и потерял в бою собственного брата, о чём говорил редко, но с той тяжестью в голосе, которая выдавала цену этого молчания лучше любых слов. Он не искал утешения ни в ком — он искал справедливости, и в этом поиске находил силы вести за собой остальных.

Он был из тех, кого невозможно представить отдыхающим. Он спал по два часа в сутки, ел меньше всех в отряде, шёл всегда впереди — и умудрялся при этом знать по имени каждого из нескольких сотен, кто шёл за ним. Когда кто-то падал от истощения, он останавливал всю колонну и ждал, сколько потребуется, не произнося при этом ни слова упрёка. Когда кто-то заводил разговор о мести, он слушал молча, а потом говорил одно и то же:

— Мсть — это то, что мы чувствуем. Но идём мы не за ней, а за тем, чтобы завтра кто-то другой не почувствовал того же, что мы сегодня. Не путайте.

Я спросил его однажды — на третью или четвёртую ночь пути, — откуда в нём эта уверенность.

— Её нет, — ответил он, не оборачиваясь. — Я просто говорю то, что должен говорить тот, кто идёт впереди. Если я скажу вслух, что мне страшно, завтра половина отряда разбежится. А мне страшно, Ролон. Каждую ночь.

Он сказал это спокойно, буднично, — и именно после этих слов я окончательно решил, что пойду за ним до конца.

Мы шли, помогая раненым и больным, освещая себе путь не факелами, а простой убеждённости в собственной правоте. Немногим из нас предстояло когда-нибудь вернуться домой — у большинства дома больше не было. Мы знали, что такое утрата, лучше, чем кто-либо ещё в этом мире.

В отряде было около четырёхсот Ларду — всё, что осталось от народа, некогда населявшего добрых полсотни деревень. Среди нас были старики, помнившие прежние войны; были совсем юные, родившиеся уже после резни и знавшие о ней лишь по рассказам; были женщины, взявшие оружие впервые в жизни и державшие его неумело, но упрямо. Был слепой музыкант по имени Эйден, потерявший зрение задолго до всякой войны, — он шёл, держась за плечо идущего впереди, и по вечерам играл нам на маленькой самодельной лире, потому что это было единственное, чем он мог быть полезен. Я до сих пор помню эти вечера лучше, чем сам бой.

— Зачем ты идёшь с нами? — спросил его кто-то однажды. — Ты ведь не сможешь драться.

— Не смогу, — согласился Эйден. — Но кто-то должен запомнить, как всё было, и рассказать потом. А я хорошо запоминаю на слух.

Никто над ним не смеялся. Может быть, потому, что каждый из нас в глубине души надеялся: если он и правда потом расскажет, то, значит, кому-то будет о чём слушать.

Еда нас не заботила — мы могли обходиться без крови гораздо дольше людей без хлеба, — но усталость копилась, и к третьему дню колонна растянулась чуть ли не на версту. Лиарон каждый вечер обходил её из конца в конец, заговаривал с отстающими, кого-то подбадривал, кого-то заставлял идти за собой почти силой.

— Он сгорит раньше нас всех, — заметил как-то Кайн, глядя ему вслед.

— Наверное, — согласился я. — Но пока он горит, идём и мы.

— Ты новенький, — сказал мне однажды один из выживших, юноша по имени Кайн, шагавший рядом со мной несколько дней подряд. — Что случилось с твоей деревней?

— То же, что и с твоей, полагаю, — ответил я, не желая распространяться.

— У меня была сестра, — тихо сказал Кайн, не обидевшись на мою неразговорчивость. — Она была младше меня на десять лет. Пряталась в подвале, пока я дрался снаружи. Я думал, что спас её. Оказалось, они нашли и её тоже — уже после того, как я упал без сознания.

Я ничего не ответил — что можно было ответить на подобное признание, кроме молчаливого понимания, которое разделяли между собой все идущие в этой колонне? Впервые за долгие годы я почувствовал не облегчение — облегчения не было и не будет, — но хотя бы то, что моя боль не была единственной в этом мире, а значит, была отчасти переносимой.

Когда мы вышли к руинам моей собственной деревни, я прикоснулся к обугленной стене — и ощутил всё, что здесь произошло, будто камень сохранил память лучше, чем я сам себе доверял. Я нашёл то место, где прежде стоял наш дом, — теперь на его месте оставались лишь чёрные головешки да оплавленный, покорёженный ткацкий станок, единственное, что уцелело от жизни Марен.

Я стоял перед ним долго. Кайн подошёл было, хотел что-то сказать — и не сказал; просто остановился рядом и молчал вместе со мной, и это оказалось единственным, что имело смысл.

Земля успела затянуть пепелище травой; за столько лет здесь выросли молодые деревца, и там, где когда-то была наша единственная улица, теперь стоял мелкий, редкий лесок. Природе, как выяснилось, безразлично, что здесь произошло, — и в этом было даже что-то утешительное.

Я походил между обгоревшими остовами, узнавая места, которых уже почти не было. Здесь был колодец. Здесь стояла лавка сапожника. Здесь мы с Марен впервые поссорились — из-за какой-то ерунды, из-за чего именно, я так и не смог вспомнить, и это почему-то расстроило меня сильнее всего остального.

Я искал могилы и не нашёл ни одной. Их никто не хоронил — некому было.

Кайн, обошедший пепелище вместе со мной, нашёл в траве детскую деревянную куклу — обгоревшую с одного бока, но целую. Он молча протянул её мне.

Это была кукла Лиэн. Я сам её выстругал, года за полтора до той ночи, и раскрасил соком каких-то ягод, отчего у неё получилось нелепое розовое лицо, над которым смеялась даже Марен.

Я взял её и не смог выпустить. Я так и дошёл с ней до самого боя, держа в левой руке, а в правой — меч; и когда всё закончилось, она всё ещё была при мне. Я носил её потом с собой все последующие века — в кармане, за пазухой, в мешке, — и она пережила и меня самого.

Где она теперь, я не знаю. Думаю, лежит где-нибудь в земле, там же, где и я. Мне почему-то хочется верить, что не истлела.

Не осталось сил горевать заново. Осталась только жажда — не крови, хотя голод и грыз меня изнутри, — а жажда знать, зачем я иду дальше. И я знал: там, за холмами, я либо отдам свою жизнь, либо наконец сумею её вернуть себе.

VI

Два дня спустя мы нашли их.

Эти два дня стали для меня едва ли не самыми длинными за всю мою бесконечную жизнь. Мы шли почти без остановок, и у каждого в колонне было время наедине с собственными мыслями — слишком много времени. Кто-то молился — Ларду, вопреки людским представлениям о нашей природе, молились охотнее многих смертных. Кто-то точил оружие до тех пор, пока лезвие не начинало звенеть от малейшего касания. Кто-то — как я — просто шёл, перебирая в памяти лица тех, кого уже не вернуть.

На вторую ночь Лиарон собрал нас всех у костра — небольшого, чадающего, разведённого скорее ради вида огня, чем ради тепла, которое нам не было нужно.

— Завтра многие из нас умрут, — сказал он без всякого вступления. — Я не стану вам врать и говорить, что мы победим малой кровью. Мы не победим малой кровью. Мы, скорее всего, вообще не победим в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово.

— Тогда зачем мы идём? — спросил кто-то из задних рядов.

— Затем, что там, впереди, есть деревня, — ответил Лиарон. — В ней живут те, кто ни в чём не виноват, — ровно как были ни в чём не виноваты наши. И если мы пройдем мимо, зная, что будет с ними завтра на рассвете, то чем мы отличаемся от тех, кто убивал нас?

Он обвёл нас взглядом — медленно, останавливаясь на каждом.

— Кто хочет уйти — пусть уходит сейчас, — добавил он. — Без укора. Я серьёзно. Мне нужны те, кто останется по собственной воле, а не по стыду перед соседом.

Той ночью не ушёл никто. Я до сих пор не знаю, было ли это мужеством или просто тем особым видом усталости, когда человеку — или не человеку — становится уже всё равно.

Тех, кто стирал с лица земли новорождённую жизнь. Тех, кто убивал незащищённых женщин, стирал память о любви, которая когда-то здесь жила. Мы подросли вовремя — они как раз готовились напасть на очередное мирное селение, не ценившее крови иначе, чем ценят её живые люди — как саму жизнь.

Скрестились мечи. Начался бой — без пощады для тех, кто пришёл к нам войной.

Удар за ударом, смерть за смерть — кровавая бойня, которой, казалось, суждено было длиться вечно. Вечность для боли. Вечность для сердца, которое устало биться в ритме чужой ненависти. Усталость забывалась. Разгуливалась смерть — та, что хочет забрать с собой и убийцу, и жертву без разбора. Жалости не было места в наших глазах; страху не было места в этой войне. Горькие слова, которые мы могли бы сказать друг другу, стали пусты задолго до того, как их успели произнести.

Я дрался в тот день так, как не дрался никогда прежде, — не от храбрости, а потому что во мне наконец прорвалась вся та ярость, что копилась годами одинокого бегства. Каждый удар, что я наносил, был ударом за Марен, ударом за Лиэн, ударом за собственную, так долго откладываемую расплату с самим собой.

Рядом со мной бился Кайн — молча, сосредоточенно, с той страшной, экономной точностью движений, какая приходит лишь к тем, кому нечего больше терять. Я видел, как он принял на себя удар, предназначавшийся мне, — и, обернувшись через мгновение, увидел его уже поднимающимся с земли, окровавленным, но по-прежнему стоящим на ногах.

— Ты в порядке? — крикнул я сквозь лязг металла.

— Ещё жив, — коротко ответил он. — Держись ближе, Ролон. Поодиночке нас перебьют быстрее.

Мы сражались, стоя спина к спине, до самого вечера — и когда солнце опустилось за холмы, а поле боя погрузилось в сумрак, где уже невозможно было отличить своих от чужих, я вдруг поймал себя на странной, недостойной, быть может, мысли: впервые за все прошедшие века я не чувствовал себя одиноким. Даже здесь, посреди этой бессмысленной бойни, среди крови и криков, рядом со мной был кто-то, кому не нужно было объяснять, почему я здесь и за что дерусь.

Эйден — слепой музыкант — погиб в первый же час. Его никто не звал в бой; он просто пошёл вместе со всеми, держась, как всегда, за плечо идущего впереди, и когда строй смешался, идти стало не за кем. Я нашёл его потом, уже после, — он лежал, всё ещё прижимая к себе свою маленькую лиру, и лира была цела.

Я не знаю, почему из всех смертей того дня эта врезалась мне в память сильнее прочих. Может быть, потому что он один шёл туда, заранее зная, что не сможет драться. Может быть, потому что вместе с ним умерла и та единственная причина, по которой он пришёл: рассказать потом, как всё было.

Рассказывать в итоге пришлось мне.

Один из Бруджи — огромный, вдвое шире меня в плечах — сбил меня с ног ударом, от которого у меня потемнело в глазах. Я лежал на земле, глядя на занесённый надо мной клинок, и в тот миг — признаюсь честно — не испытал ни страха, ни сожаления: лишь усталое, почти

облегчённое согласие, будто смерть, которой я так долго избегал, наконец пришла ко мне по праву.

Но клинок так и не опустился. Кайн успел раньше.

— Вставай, — процедил он, протягивая мне руку. — Умирать будем позже, когда закончим.

Я поднялся. Мы дрались дальше.

И вдруг один из Миньонов остановил бой.

— Что толку нам биться, — произнёс он, вкладывая меч в ножны, — когда смерть уже прошла через всех нас? Мы все прокляты.

Таковы были его слова. Я помню их до сих пор — не потому что в них было утешение, а потому что впервые за долгое время в них прозвучало что-то похожее на правду.

VII

Лиарон вышел вперёд. Он не опустил оружия.

— На священный огонь вы пролили кровь, — сказал он. — Убив беззащитных. Но в чём они были повинны? Разве их свобода — вымысел? Разве дорога их жизни выцвела оттого, что вы решили, будто она не имеет права быть иной? Мы живём не так, как вы. Разве это повод для войны?

— Я понимаю тебя, — ответил Миньон.

— Нет, — покачал головой Лиарон, и в его голосе впервые за всё это время прозвучала не ярость, а усталость. — Ты не понимаешь. Если бы ты знал, каково это — умирать. Я своими руками похоронил мать. Многие из нас продолжают страдать. Нам некуда идти — вы разрушили наши дома. Мы не живём. Мы умираем — медленно, каждый день заново.

— Чего же ты хочешь?

— Мести, — сказал Лиарон без колебаний. — Во имя умерших. Во имя чести, которую вы у нас отняли.

— Ты видишь сам, — произнёс Миньон, — что война будет вечной. И неважно, каким окажется исход этого истечения крови. Слишком многое уже пролито. Мы отступим. Мы уйдём — мы ведь тоже, вопреки всему, ценим кровь вампиров.

— Что же, — с горечью выдохнул Лиарон, — раньше вы её не ценили?

— Вы не жили, как вампиры, — ответил тот, и в этом ответе было столько же презрения, сколько и признания собственной вины. — Слушайте все! Этот день мы запомним — день, когда Ларду доказали цену своей крови. Прощайте. Но помните: война не закончена. Она будет жить в венах — вечно.

— Я знаю, — тихо сказал Лиарон.

Мы долго стояли и смотрели, как Бруджи и Миньоны уходили на восток, оставляя нас — наконец — в покое.

Никто не кричал. Никто не праздновал. Из четырёхсот, вышедших в поход, на ногах осталось едва ли полторы сотни, и большинство из них были ранены. Мы стояли посреди поля, заваленного телами, и не чувствовали ничего, кроме оглушительной, ватной пустоты — той самой, что приходит, когда всё, ради чего ты жил последние недели, вдруг заканчивается, а что делать дальше, никто не сказал.

Деревня, ради которой всё это затевалось, к утру опустела: её жители, услышав ночью звуки боя, собрали что могли и ушли на рассвете, не дожидаясь развязки. Они так и не узнали, что кто-то умирал за них в двух верстах от их домов. Я не в обиде — на их месте я поступил бы так же.

Лиарон обошёл поле, считая мёртвых. Он делал это лично, не поручая никому, и на это ушло полдня. Потом он сел на камень и просидел неподвижно до самого вечера, и никто не решился подойти.

Я подошёл уже в темноте — сам не знаю зачем.

— Двести сорок три, — сказал он, не оборачиваясь. — Я знал по имени каждого. Теперь думаю: лучше бы не знал.

— Ты не виноват.

— Знаю, — ответил он. — И это ничего не меняет.

Мы помолчали.

— Что дальше? — спросил я наконец.

— Уведу оставшихся на север, — сказал Лиарон. — Там, говорят, есть земли, где нас никто не ищет. Построим что-нибудь. Не знаю что. Что-нибудь. — Он впервые повернулся ко мне. — Пойдёшь?

Я не ответил сразу. Он всё понял и кивнул.

— Ну, воля твоя, — сказал он. — Только имей в виду одну вещь, Ролон. Тот, кто уходит в одиночество, всегда думает, что наказывает этим себя. А наказывает он тех, кому мог бы пригодиться.

Я запомнил и эти слова тоже. Я вообще, как выяснилось, очень хорошо запоминаю чужие слова — и очень плохо им следую.

Кровавый след, оставленный на поле битвы, впитался в землю подобно проклятию — проклятию, которому суждено было терзать не только нас, но и наших потомков, тех, кто ещё не родился и понятия не имел, какую цену заплатят их предки.

Во снах они увидят наши страдания. Боль не умрёт вместе с нами — она утащит на дно и следующие поколения, и следующие после них, пока кровь однажды не очистится — если вообще когда-нибудь очистится.

VIII

После того боя я не вернулся жить среди сородичей, хотя Кайн и звал меня остаться с оставшимися Ларду, начать всё заново на новом месте.

— Тебе нужна семья, Ролон, — сказал он мне тогда. — Пусть не такая, какая была, — но семья.

— Я не заслуживаю новой семьи, — ответил я ему. — Не после того, что я сделал — вернее, не сделал.

— Ты был не единственным, кто побежал в ту ночь, — тихо сказал Кайн. — Я тоже, если помнишь, упал без сознания, вместо того чтобы спасти сестру до конца.

— Это разные вещи, — возразил я. — Тебя оглушили. Я убежал сам, своими собственными ногами, пока моя жена заслоняла собой нашу дочь.

Кайн не нашёл, что на это ответить, — да и вряд ли что-то могло бы это исправить. Мы расстались у подножия холмов: он пошёл вслед за уцелевшими Ларду искать новое пристанище, я — обратно, туда, где меня ждала лишь пещера и собственная память.

Бумага стерпит всё. Но только бумага.

Я раскаялся — искренне, до самого дна своей вечной, проклятой жизни. Но этого мало. Слишком мало, чтобы искупить то, что случилось в ту ночь у меня дома. Это проклятие лежит лишь на мне одном, и жаль — как жаль! — что я разобрался в себе так поздно. Я прожил после этого ещё много веков — и каждый из них был лишь длинной чередой одних и тех же вопросов, повторяющихся так часто, что они стёрлись, будто галька в русле реки, но так и не потеряли своей горькой остроты.

Лиарон, как я узнал много позже от случайных странников, увёл уцелевших Ларду далеко на север, где основал новое поселение — тайное, хорошо защищённое, просуществовавшее, по слухам, не одну сотню лет. Кайн, тот самый юноша, что потерял сестру в ночь резни, дожил там до глубокой старости — насколько вообще может состариться вампир — и, говорят, вырастил собственных детей, которые, в свою очередь, вырастили своих. Жизнь, которую он не смог спасти в ту страшную ночь, он, выходит, сумел вернуть себе позже — по крупицам, шаг за шагом, тем самым способом, каким и восстанавливается любая разрушенная жизнь: не единым махом, а годами упорного, незаметного труда.

Я же так и не нашёл в себе сил присоединиться к ним. Каждый раз, представляя новую семью, новых детей, новый смех в новом доме, я слышал в этом смехе отголосок смеха Лиэн — и не мог вынести этого отголоска. Быть может, это было моей второй трусостью, не менее постыдной, чем первая: я предпочёл бесконечное одиночество риску полюбить и потерять снова.

Лишь однажды, века спустя, я едва не изменил этому решению. Случилось это в маленьком приморском городке, куда я забрёл почти случайно, устав от вечной темноты своих гор и позволив себе на время выйти к людям, скрываясь под видом обычного путника. Там я встретил женщину — человеческую женщину по имени Иден, вдову рыбака, воспитывающую в одиночку двоих детей, — и что-то в её усталой, но не сломленной улыбке напомнило мне Марен настолько живо, что я задержался в том городке дольше, чем следовало.

Я помогал ей по хозяйству, чинил прохудившуюся крышу, колот дрова на зиму — обычные людские дела, которые я, к своему собственному удивлению, вдруг обнаружил, что помню, как делать, будто и не прошли те века. Дети её — мальчик и девочка, погодки, — быстро привыкли к молчаливому незнакомцу, чинившему их дом, и однажды девочка, совсем как когда-то Лиэн, забралась ко мне на колени без всякого приглашения и заснула так, будто знала меня всю жизнь.

— Ты странный человек, — сказала мне Иден однажды вечером, когда дети уже спали. — Ты никогда не рассказываешь о себе. Ты словно боишься подпустить кого-то слишком близко.

— Так и есть, — признался я, впервые говоря правду вслух, хоть и не всю. — Я потерял всех, кого любил. И с тех пор боюсь потерять снова.

— Все мы кого-то теряем, — тихо ответила она. — Я потеряла мужа. Но разве это повод перестать жить, разве это повод не впускать в свою жизнь новых людей?

Я не нашёл, что ответить, — а через три дня ушёл из того городка на рассвете, не попрощавшись, оставив на столе немного денег и объяснение, которое сам не до конца понимал. Я не мог рисковать снова — не мог позволить себе полюбить смертную женщину и её детей, зная, что переживу их всех, зная, что однажды буду хоронить и эту семью так же, как хоронил собственную. Быть может, это было моей третьей трусостью. А быть может — единственным проявлением мудрости за всю мою долгую, бестолковую жизнь. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, и, подозреваю, уже никогда не узнаю.

В последние десятилетия перед тем, как моя собственная, столь долго откладываемая смерть наконец настигла меня — а вампиры, вопреки распространённому мнению, всё же смертны, просто смерть их находит окольными, редкими путями, — я начал записывать свою историю на клочках пергамента, что удавалось раздобыть у редких странников. Не ради прощения, в которое я давно перестал верить, а ради того, чтобы хоть кто-то, когда-нибудь, вспомнил имена Марен и Лиэн — не как жертв безымянной резни, а как людей, которые жили, любили и смеялись, прежде чем мир отнял их у меня.

Так, наверное, эта исповедь и попала в Книгу Теней — раскаяние вампира, записанное не ради собственного оправдания, а ради памяти о тех двоих, кого он не сумел защитить.

* * *

Нэирс закрыл глаза — хотя закрывать было, в сущности, нечего: его новые, мёртвые глаза видели и без век. Он ощутил, как история Ролона отпускает его сознание, возвращая туда, где вечно царила пустота между мирами.

«Жизнь ценит только кровь, — подумал он, — но не гордость и даже не любовь. Но разве только свет погас тогда в их глазах? Разве только страх и боль были на их устах? Достойно ли будет прощение после такого? Достойна ли исповедь души — её очищение? Достойна ли огонь, что горит без любви — огонь из пустых, обгоревших страниц?»

Он подумал о собственной матери, оставшейся там, в мире живых, — о том, что она, наверное, до сих пор ищет его, до сих пор надеется, что он вернётся с работы чуть позже обычного. Эта мысль отозвалась в нём той же самой болью, что звучала в исповеди Ролона, — болью того, кто ушёл, не попрощавшись, кто оставил после себя лишь пустоту там, где раньше была жизнь.

И ещё одна мысль пришла ему тогда — мелкая, не к месту, из тех, что цепляются в самый неподходящий момент и потом не отпускают годами.

«А меня почему называли Нэирсом?»

Имя пришло к нему само, в первую же минуту, будто всегда было при нём и ждало своей очереди. Он не выбирал его и даже не думал о нём с тех пор — принял, как принимают цвет собственных глаз. Но сейчас, перевернув последнюю страницу чужой исповеди, он вдруг ясно понял, что имя это не могло взяться из ниоткуда. Всё в этой книге кому-то принадлежало. Каждая история была чьей-то. Каждое слово было записано за кем-то живым.

Значит, и Нэирс — кто-то.

Он пролистал несколько страниц вперёд, потом назад, искал заголовок — и не нашёл. Книга не откликнулась. То ли не хотела, то ли ещё не время было.

«Ладно, — решил он. — Потом».

Он снова взглянул на книгу в своих руках. Страницы шелестели одна за другой, и его мёртвый взгляд, полный совсем не мёртвого любопытства, остановился на следующем заголовке.

«Последние слёзы», — гласил он.

И мир вокруг Нэирса снова начал меняться.

КНИГА ВТОРАЯ. Последние слёзы

I

Рождение всегда несёт с собой счастье — так, во всяком случае, принято думать. Первый вдох, первый луч солнца, первые слёзы, ещё не знающие горя, — всё это кажется беззаботным огнём, который просит и хочет, не ожидая, что однажды придётся платить болью за каждый прожитый день. Но боль редко умирает вместе с тем мгновением, что её породило. Чаше она лишь набирает силу со временем, как семя, брошенное в неласковую землю.

Эрэн и Кайлт жили вдали от скорби, вдали от лжи, которой так богат человеческий мир. Их дом стоял на отшибе небольшого селения, у самой кромки леса, и соседи, бывало, посмеивались над тем, как супруги любят уединение больше, чем компанию, — но в этой любви к тишине не было ничего дурного, только желание сохранить хрупкое, с трудом обретенное счастье в целостности, подальше от чужих завистливых глаз. Их счастье казалось безграничным, а мечты сбывались одна за другой — и высшей из этих сбывшихся мечт стало рождение близнецов.

Кайлт был охотником — не из лучших, но достаточно умелым, чтобы его семья никогда не голодала. Эрэн знала грамоту, что для женщины в тех краях было редкостью: её обучил отец, служивший когда-то писарем при монастыре. Может быть, именно поэтому она так тяжело перенесла то, что случилось потом: она была из тех немногих в округе, кто умел задавать вопросы, а не просто принимать чужую волю как данность.

Мальчики родились в конце зимы, с разницей в четверть часа. Повитуха, качая головой, сказала, что редко видела женщину, столь упрямо цепляющуюся за жизнь двух младенцев разом; Кайлт в ту ночь трижды выбегал в снег, потому что не мог усидеть в доме.

Пять лет они жили в этой простой, ничем не омрачённой радости: мальчики росли крепкими, шумными, вечно исчезающими в лесу в поисках очередного приключения, и Кайлт, глядя на них, часто повторял, что из его сыновей выйдут либо великие охотники, либо великие разбойники, — и никогда не подозревал, насколько причудливо обернётся его шутка.

Мальчиков называли при рождении — просто, как называли всех в той деревне; этих имён им предстояло лишиться раньше, чем они научатся их толком выговаривать.

Но счастье, как и свет, не бывает вечным.

В чёрных балахонах к их дому пришли люди — не разбойники, не убийцы, а нечто худшее: те, кто действовал во имя пророчества. Их было пятеро, и двигались они с той методичной, лишённой сомнений уверенностью, что бывает только у людей, убеждённых в собственной правоте настолько, что любая жестокость кажется им не более чем необходимой платой за высшую цель. Они пришли за детьми. Кайлт встал у порога, не позволяя забрать сыновей, — и его убили на месте, прямо на глазах у жены, а мальчиков унесли, как унесли бы неодушевлённый груз, не обращая внимания на их крик, на крик самой Эрэн, на всё то, что делало этот дом домом, а не просто стенами и крышей.

Эрэн осталась одна с расколотым сердцем. Мужа больше не было. Надежда была стёрта в одно мгновение так же безжалостно, как стирается надпись с песка первой же волной. Радость, ещё вчера наполнявшая их маленький дом, обратилась в тишину — и в этой тишине Эрэн будет вечно молиться за сыновей, будет вечно ждать их возвращения, до тех пор, пока сами слёзы не пройдут своё, последнее очищение.

Соседи пришли только к утру — те самые, что прежде посмеивались над нелюдимостью этой семьи. Кто-то помог обмыть тело Кайлта, кто-то принёс доски на гроб, кто-то остался

ночевать в доме, чтобы Эрэн не была одна. Ей говорили обычные в таких случаях слова: что на всё воля Божья, что надо крепиться, что дети, может быть, ещё вернутся.

— Куда они их увезли? — спрашивала она всех подряд. — Хоть кто-нибудь видел, в какую сторону?

Никто не видел. Или не хотел говорить: чёрные балахоны в тех краях означали одно, и связываться с этим не хотелось никому.

На второй день она собралась идти искать — в чём была, без денег, без плана, просто по дороге на север, потому что кто-то якобы видел повозку в ту сторону. Её удержали силой. На третий день у неё началась горячка, и к вечеру сердце, не выдержавшее ни горя, ни гонки, остановилось.

Похоронили её рядом с мужем, у самой кромки леса. Их могилы никто не навещал: родни не осталось, а соседи со временем забыли.

II

В монастыре мальчиков окрестили заново: имена, данные им родителями, там сочли мирскими и негодными, и с того дня их звали Скортом и Рагромом. Своих прежних имён братья потом так и не вспомнили — они были слишком малы, а спросить оказалось не у кого. Те, кто забрал их, верили в древнее предсказание: «Родятся близнецы, и когда луна закроет свет, недолгое её царствие всё же оставит след, и тысячи душ они освободят, и явится им истинный, внутренний взгляд». Это пророчество передавалось в закрытом монашеском ордене из поколения в поколение, и старцы, толковавшие его, давно решили: единственный способ вырастить достойных исполнителей воли небес — забрать младенцев из мира, где их душу могли бы испортить обыденные людские слабости, и воспитать их в стенах, куда не проникает ничего, кроме дисциплины и веры.

Двадцать лет близнецов обучали воинскому искусству — в стенах монастыря, вдали от любви, на земле, которую, казалось, давно оставила всякая жизнь. Каждое утро начиналось с молитвы, каждый день заканчивался тренировкой до полного изнеможения; братья спали в холодных кельях, ели то немногое, что позволял устав, и знали о внешнем мире лишь то, что считали нужным сообщить им наставники. Они не знали порока: для них честь была одной из немногих святынь, которые им позволили сохранить, — но вместе с пороком их лишили и радости, и той теплоты, что отличает выросшего в любви ребёнка от выросшего в дисциплине воина.

Монастырь стоял высоко в горах, отрезанный от мира почти половину года снегом. Зимой ветер выл в переходах так, что молитву приходилось читать громче обычного; летом со двора открывался вид на долину, куда братьям запрещалось спускаться. Ворота отпирались дважды в год — когда приходил обоз с припасами. Оба раза мальчиков запирали в кельях: наставники не хотели, чтобы они видели чужие лица и слышали чужие разговоры.

Распорядок был неизменен двадцать лет подряд. Подъём затемно. Молитва. Час с посохом, час с мечом, час с ножом. Скучная трапеза в полном молчании. Работа — колка дров, починка стен, чистка снега. Снова оружие. Снова молитва. Сон, который заканчивался слишком быстро.

Их учили драться не так, как учат солдат. Солдату нужно выжить в строю; братьев же готовили к чему-то другому — к одиночным схваткам, к бою в темноте, к бою против того, кто сильнее и быстрее человека. Отец Виссарион заставлял их сражаться с завязанными глазами, по звуку; заставлял стоять в ледяной воде по пояс, пока не начинали неметь ноги; заставлял драться уставшими, голодными, избитыми — потому что, говорил он, отдохнувшим и сытым в настоящем бою бывать не приходится.

— Зачем нам всё это? — спросил однажды Рагром, которому было тогда лет шестнадцать. — С кем мы будем драться, отче? Здесь нет никого, кроме нас.

— Здесь — нет, — согласился Виссарион. — Там — есть.

— Кто?

Монах долго молчал.

— То, чего ты не увидишь, пока оно само тебя не найдёт, — сказал он наконец. — Больше я тебе сказать не вправе. Молись и работай.

Иногда, по ночам, братья перешёптывались в темноте общей кельи — о матери, которой не помнили толком, о доме, который помнили ещё хуже, о том, как выглядит море, которого не видел ни один из них. Эти разговоры были единственным, что напоминало им, что они всё-таки дети, а не только два заострённых кем-то орудия.

— Как думаешь, она нас ищет? — спросил как-то Скорт.

— Не знаю, — ответил Рагром. — Я бы искал.

— И я.

Больше в ту ночь они не сказали ни слова.

— Рагром, — спросил однажды Скорт, когда им было лет двенадцать, во время редкой передышки между тренировками, — а ты помнишь наших родителей?

— Смутно, — признался Рагром. — Иногда мне снится женский голос, поющий колыбельную. Но лица я не помню.

— Мне тоже снится, — сказал Скорт. — Как думаешь, зачем нас забрали?

— Старцы говорят — ради высшей цели, — пожал плечами Рагром. — Ради какого-то пророчества.

— А если бы у нас был выбор — остаться там или быть здесь?

Рагром долго молчал, прежде чем ответить.

— Я бы хотел знать, каково это — быть просто мальчиком, а не орудием пророчества, — сказал он наконец. — Но выбора у нас никогда не было, Скорт. Так что какой смысл гадать?

Память временами тревожила их обоих — что стало с матерью, как убили отца, что осталось от счастья, которое они помнили лишь урывками, слишком маленькими, чтобы называться воспоминаниями. Но каждое произнесённое слово оставляет след, даже если само чувство давно позабыто; порой оно лишь навеивает то, как могло бы случиться иначе. Время шло — и им оставалось лишь умываться кровью новых тренировок вместо слёз по прошлому.

Наставник братьев, суровый монах по имени Отец Виссарион, редко баловал их похвалой, но однажды, наблюдая, как Рагром в одиночку одолел троих старших послушников на учебном поединке, позволил себе едва заметную улыбку.

— В тебе есть ярость, мальчик, — сказал он тогда. — Придёт день, и она либо спасёт тебя, либо погубит. Учись держать её в узде, пока это в твоих силах.

Рагром выслушал молча и ничего не ответил.

Скорт рос иначе — не менее умелым бойцом, но куда более склонным к состраданию, чем позволял устав монастыря. Однажды, когда им обоим было по пятнадцать лет, один из младших послушников, неуклюжий мальчик по имени Иона, был жестоко избит старшими воспитанниками за какую-то мелкую провинность — то ли пролил похлёбку, то ли опоздал на молитву, — и лежал теперь в углу общей спальни, всхлипывая и пытаясь спрятать разбитое лицо.

— Не смотри на него так жалостливо, — предупредил Рагром брата. — Отец Виссарион говорит, что жалость — это слабость, которую нельзя себе позволять.

— А по-моему, — тихо ответил Скорт, всё же подходя к плачущему мальчику и протягивая ему свой собственный, чудом уцелевший кусок хлеба, — отсутствие жалости — куда большая слабость, чем её наличие.

Виссарион, случайно ставший свидетелем этой сцены из-за приоткрытой двери, не стал вмешиваться — но в ту ночь, обходя кельи с вечерним обходом, задержался у постели Скорты чуть дольше обычного.

— Ты не такой, как твой брат, — заметил он.

— Это плохо, отче? — спросил Скорт, приподнимаясь на локте.

— Не знаю, — честно ответил старый монах. — Возможно, миру нужны вы оба — такие, какие есть. Твоя доброта однажды может спасти то, что не сумеет спасти его сила. А его сила однажды может защитить то, что не сумеет защитить твоя доброта. Дополняйте друг друга, мальчики, а не соревнуйтесь — вот всё, о чём я вас прошу.

Эти слова, произнесённые полушёпотом в темноте монастырской кельи, братья вспомнят ещё не раз — в минуты наибольшей опасности, когда одному из них будет нужна сила другого, а другому — его сострадание, — хотя ни один из них тогда, пятнадцатилетним, ещё не мог знать, сколь пророческими окажутся эти простые, произнесённые между делом слова.

III

Но однажды рассвет принёс с собою не очередной урок, а свободу.

— Рагром и Скорт, — произнёс старец, вышедший к ним во двор монастыря, — вас больше нечему учить. Посмотрите на север — туда уходит ваша нить. Там, вдали, ждёт вас ваша мать. Ступайте — и не позволяйте пороку одержать над вами верх.

— Не держите на нас зла, — добавил он тише. — Мы не запятнали ваш свет. Мы готовили вас к жизни последние двадцать лет — так, как умели.

Послушник, стоявший рядом со стариком, проводил братьев долгим взглядом, в котором смешались гордость и сомнение.

— Как удачно прошло их учение, — заметил он, когда братья скрылись за воротами. — Но блуждать в сомнениях они, боюсь, будут ещё долго. Они помнят, что случилось с ними в детстве.

— Двадцать лет назад мы поступили не по правде, — тихо ответил старец. — Но это была жертва — и я надеюсь, не напрасная. Главное — мы искоренили в них гнев. Теперь их судьба — само пророчество, а души их нетленны.

— Мы не искоренили гнев, отче, — возразил послушник. — Мы его придавили. Это разные вещи. У старшего он в глазах стоит — я вижу это каждый раз на тренировках.

— Ты слишком молод, чтобы судить о таких вещах.

— Я достаточно молод, чтобы ещё помнить, каково это — когда тебя заставляют быть тем, кем ты не являешься, — ответил послушник, и старец не нашёлся, что сказать.

Много позже, когда до монастыря дойдут слухи о том, что случилось в Вересиен, — а слухи туда дойдут, хотя и с опозданием в несколько лет, — этот разговор вспомнят оба. И старец, уже умирая, попросит записать в монастырскую хронику одну-единственную фразу, которой прежде никто в этих стенах не произносил вслух: «Мы ошиблись».

Хронику потом сожгут при пожаре. Фраза не сохранится.

— А если пророчество лживо? — спросил послушник. — Если мы отняли у этих двоих целую жизнь ради пустых слов старой книги?

Старец долго молчал, глядя туда, куда ушли братья.

— Тогда нам всем придётся держать за это ответ, — сказал он наконец. — Но выбирать поздно. Дело сделано, и обратной дороги нет ни для них, ни для нас.

Братья шли, словно странники, не знающие мира, — а мир, в свою очередь, уже готовил для них своё особое, безжалостное испытание.

IV

— Не верю я, — сказал Скорт, оглядываясь на дорогу, тянувшуюся позади них. — Рагром, мы идём домой.

— Да, Скорт, — отозвался брат. — Домой.

— Что с матерью стало? Как она сейчас?

— Не знаю, — покачал головой Рагром. — Но она наша семья, и я не хочу больше видеть её слёзы. Нас не было слишком долго.

Они шли уже третий день, и мир вокруг них казался одновременно и знакомым, и совершенно чужим: Скорт то и дело останавливался, разглядывая то полевой цветок, то птицу, то просто игру света на воде — вещи, которых им не показывали в стенах монастыря, и которые теперь поражали его почти детским восторгом.

Первую ночь вне монастыря они провели под открытым небом, и Скорт долго не мог уснуть — не от холода, а от непривычки: двадцать лет над ним был каменный свод, а теперь вдруг оказалось, что небо гораздо больше, чем ему представлялось, и что звёзд на нём столько, что их невозможно сосчитать.

Утром он обнаружил, что не знает простейших вещей. Как развести огонь без кремня, который им дали с собой. Сколько стоит хлеб. В какую сторону идти, если развилка. Что делать, если промокли сапоги. Двадцать лет их учили убивать и молиться — и ни разу не научили жить.

— Мы с тобой самые бестолковые взрослые мужчины на этой дороге, — мрачно заметил он на второй день, разглядывая сбитые в кровь ноги.

— Научимся, — отозвался Рагром.

— Когда?

— По ходу дела. Как все.

И они действительно учились — на ходу, на ошибках, спрашивая дорогу у пастухов и сбиваясь с пути через раз. Скорт научился торговаться быстрее брата; Рагром лучше ориентировался по солнцу. Оба быстро поняли, что монашеская одежда, которую им выдали в дорогу, привлекает лишние взгляды, и на четвёртый день обменяли её на простую крестьянскую — вместе с половиной своих скудных денег.

Странно, но эти первые, бестолковые дни оба потом вспоминали как самые счастливые в своей жизни.

— Рагром, ты спишь?

— Нет.

— Как думаешь, мы её узнаем?

— Мать? — Рагром помолчал. — Узнаем. Наверное.

— А она нас?

— Скорт, спи.

Но Скорт не унимался. Он говорил и говорил — о том, каким может оказаться их дом; о том, есть ли у них братья и сёстры, родившиеся уже после; о том, что он, пожалуй, научится какому-нибудь ремеслу, потому что воинское искусство им больше не понадобится; о том, что хорошо бы завести собаку. Рагром слушал молча, изредка хмыкая, и в какой-то момент Скорт понял, что брат улыбается в темноте — чего с ним не случалось уже очень давно.

На второй день они впервые в жизни попробовали купить еду: в придорожной деревушке женщина продала им хлеб и молоко, и Скорт, не знавший счёта деньгам, отдал ей вдвое больше, чем следовало. Женщина честно вернула лишнее — и этот простой, ничего не значащий поступок произвёл на братьев такое впечатление, что они обсуждали его ещё полдня.

— Нам двадцать лет твердили, что мир полон порока, — сказал тогда Скорт. — А она могла забрать всё и не забрала.

— Одна женщина — ещё не мир, — заметил Рагром.

— Но она в этом мире есть, — упрямо возразил Скорт. — Значит, не всё так, как нам говорили.

— Как прекрасен этот закат, — произнёс Скорт после долгого молчания. — Будто отражает мой собственный, немного печальный взгляд.

— Да, ты прав, — согласился Рагром. — Но нам нужен ночлег. Вон там, кажется, какой-то город.

— Эх... двадцать лет, — вздохнул Скорт, и в этом вздохе уместилось всё — и радость возвращения, и страх перед тем, каким окажется мир, из которого их однажды выдернули насильно. — Как думаешь, узнает нас мать?

— Мы были совсем маленькими, когда нас забрали, — сказал Рагром. — Но мать, я думаю, узнаёт своих детей не глазами.

Над воротами города, к которому они подошли, висел герб — молот, отражающий свет закатного солнца. Ничто в этом гербе не объясняло, что он значит и почему выбран именно молот; братья не стали задаваться этим вопросом и просто вошли внутрь. Улицы города показались им на удивление оживлёнными — торговцы зазывали покупателей, дети бегали между телегами, где-то играла музыка, — и после двадцати лет монастырской тишины этот шум казался братьям едва ли не оглушительным.

— Никогда не видел столько людей разом, — признался Скорт.

— Держись ближе ко мне, — сказал Рагром, хотя причин для беспокойства как будто не было.

В одной из таверн они остановились на ночлег, и едва на небе зажглась первая звезда, городские ворота закрылись за их спинами.

V

Настала ночь — а луна, как известно, не выбирает, кого судить за грехи. В таверне царило веселье, слишком бойкое для случайного захолустного городка; люди пили, смеялись, жили для себя — и это было их право, как есть право и грешить, вот только грех редко удаётся искупить так же легко, как его совершить.

— Странно, — тихо заметил Рагром, оглядывая зал. — Слишком много веселья для такого скромного городка. И слишком мало детей за столами — будто их всех уже уложили спать заранее, хотя час ещё не поздний.

— Тебе всюду мерещится опасность, — усмехнулся Скорт. — Дай мне хоть один вечер порадоваться простому элю и простой музыке.

Дверь, ведущая в мир, которого не бывает при свете дня, открылась незаметно для всех, кроме тех, кому суждено было это заметить. Демоны вышли к пиршеству — туда, где чья-то жизнь была уже запятнана достаточно, чтобы эта ночь смогла, наконец, открыть им глаза на правду.

Все жители города — все, до последнего человека, — обратились в существ, изуродованных светом, не способных больше выносить креста. Весь этот город с самого начала был лишь иллюзией — искусно сотканной приманкой, и теперь голод нечисти, долго дремавший под личиной обычной таверны и обычных улиц, проснулся вместе с грешными душами, которых он поджидал.

Крики. Вопли. Пир, начавшийся заново — так, будто и не прекращался никогда. Люди молились, пока ещё оставалась хоть какая-то вера в то, что молитва их спасёт.

«Спаси нас, Отче наш, от слуг сатаны! В том, что они пришли, нет нашей вины...»

Но люди умирали — всё быстрее, всё чаще, и кровь текла по улицам, которые ещё вечером казались вполне обычными. Смерть возвращалась в этот город снова и снова, будто ей самой было мало одного раза.

— Скорт, не смотри! — крикнул Рагром, хватая брата за плечо и оттаскивая его от окна их комнаты, за которым творился весь этот ужас.

— Что происходит?! — воскликнул Скорт, впервые в жизни ощутив тот самый, животный страх, от которого их так тщательно ограждали двадцать лет монастырских стен.

— Не знаю, — процедил Рагром, вставая спиной к двери, готовый защищать брата хоть голыми руками. — Но что бы это ни было, оно не должно войти сюда.

Но в комнату, где спали два брата, тьма не смогла войти. У неё не было на то права: она не может забрать с собой тех, кто не запятнан пороком, кого не соблазнил ни один грех. И потому Скорт и Рагром стали единственными, кто пережил эту ночь, — ночь, задуманную для чужого раскаяния, которому уже нечем было помочь.

Всю ночь они просидели, прижавшись спинами к стене, слушая крики за окном, не смея ни выйти, ни заснуть, — и лишь на рассвете, когда крики стихли, Рагром позволил себе выдохнуть.

Один раз за ту ночь кто-то постучал в их дверь — не ударил, не заколотил, а именно постучал, вежливо, размеренно, три раза подряд.

— Откройте, — произнёс за дверью женский голос, показавшийся Скорту смутно знакомым: кажется, так говорила служанка, подававшая им ужин. — Прошу вас, откройте. Они убивают всех подряд. Мне некуда бежать.

Скорт дёрнулся было к двери, но Рагром перехватил его руку железной хваткой.

— Не смей.

— Там же человек! — прошипел Скорт.

— Там не человек, — тихо сказал Рагром, не сводя глаз с двери. — Прислушайся. Она не плачет. Она даже не запыхалась. Так не говорят те, кто бежит от смерти.

Стук повторился — те же три вежливых удара, тот же ровный, спокойный голос, слово в слово повторивший сказанное ранее. И ещё раз. И ещё. Словно кто-то, не имея доступа внутрь, раз за разом проигрывал единственную заученную фразу, надеясь, что рано или поздно она сработает.

Скорт медленно опустил руку.

— Господи, — прошептал он.

— Вот именно, — отозвался Рагром. — Молись, если помогает. Только двери не открывай.

К утру стук прекратился — так же внезапно, как всё остальное.

VI

Рассвет стёр тьму без следа — а вместе с ней стёр и город. Проснувшись, братья вышли на улицу и обнаружили её пустой: ни жителей, ни гостей таверны, ни хозяина, наливавшего им вчера вечером эль. Ворота стояли распахнутыми настежь, будто приглашая их продолжить путь как можно скорее, — и то, что случилось здесь ночью, их не касалось и не заботило.

Самым жутким было не отсутствие людей, а отсутствие следов. На улицах не было ни крови, ни выбитых дверей, ни брошенных вещей — ничего, что указывало бы на побоище, которое они слышали всю ночь. Кружки на столах таверны стояли чистыми и сухими. Очаг был холодным, будто в нём не разводили огня месяцами. Пыль лежала ровным слоем на стойке, у которой вчера толпилось человек двадцать.

— Мы что, спятили оба разом? — тихо спросил Скорт.

Рагром не ответил. Он подошёл к стойке, провёл пальцем по пыли, посмотрел на палец — и молча показал брату.

Они обошли ещё две улицы. Дома стояли пустые и явно давно заброшенные: провалившиеся крыши, забитые окна, проросшая сквозь мостовую трава, которой вчера не было. У колодца на площади висело ведро, насквозь проржавевшее, разваливающееся от одного прикосновения.

— Сколько лет тут никто не живёт, как думаешь? — спросил Скорт.

— Не знаю, — сказал Рагром. — Лет двадцать. Может, сто.

Они забрали свои вещи и ушли, не сговариваясь, почти бегом, и оба ни разу не оглянулись до самого леса. Об этой ночи они больше никогда не заговаривали друг с другом — ни в тот день, ни после.

— Куда все делись? — прошептал Скорт, оглядывая пустые улицы.

— Не знаю, и, боюсь, лучше нам не узнавать, — ответил Рагром. — Идём отсюда, и как можно скорее.

Дорога дальше вела через леса, болота и трясины, где журчала невидимая вода. Они шли долго; к вечеру деревья вокруг сгустились в почти непроницаемую стену, а холод стал пробираться до костей — так, словно само место не желало их отпускать и заманивало в ловушку сна.

— Давай остановимся здесь, у реки, — предложил Скорт, чувствуя, как усталость двадцатилетнего заточения наконец догоняет его вперемешку с усталостью долгого пути. — Мне нужно поспать.

— Хорошо, — согласился Рагром, хотя что-то в этом месте ему не нравилось — какое-то смутное, необъяснимое чувство, которому он, впрочем, не придавал значения, списав его на усталость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.